

Сочинения Александра Пушкина

Статья восьмая. Евгений Онегин

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как *Евгений Онегин*. И эта робость оправдывается многими причинами. *Онегин* есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в *Онегине* личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит — оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом дос-

тоинстве *Онегина*, – эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в *Онегине* слабым или устарелым, – даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах *Онегина*, с одной стороны, видеть недостатки, с другой – достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное составляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к *Онегину* наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что *Онегин* со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об *Онегине* будет развитием этой мысли, какою бы ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей.

Прежде всего в *Онегине* мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения *Евгений Онегин* есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более как понятливою и перимчивою ученицею европейской музыки, – и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. <...>

Первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть – *Евгений Онегин* Пушкина, и <...> в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. <...> Это такая же истина, как и то, что дважды два – четыре. Если ее не все признают национальною – это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете – уже не русские, и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие даже и между так называемыми образованными людьми бессознательно подражают русскому просто-народью, которое всякого чужестранца из Европы называет *немцем*. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались, как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации, – однако, тем не менее, между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента – духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком, – и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большую частью смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира, – если, говорим, все народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить, как две капли воды, на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физическою и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже этого ничего нельзя

выдумать! Первая причина особенности племени или народа заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим по крайней мере в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать, и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское войско, если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, — как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы, или отступающими в грозном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца, — он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец». Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. <...>

Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего

«не русским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего, – вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь площадной роман, вроде «Разгуляя купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако, тем не менее, национально-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако, тем не менее, русское, но не национальное произведение... Нет, и тысячу раз нет! Пора, наконец, вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе, и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, – а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, – для этого поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но смотрит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». Разгадать тайну народной психеи – для поэта значит уметь равно быть верным действительности при изображе-

нии и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни, – тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титуло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, – значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как *Горе от ума* и *Мертвые души*, но и такие, как *Герой нашего времени*, суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания.

И первым таким национально-художественным произведением был *Евгений Онегин* Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостью. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, – такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на русском языке было одно прекрасное (по своему времени) произведение, вроде повести в стихах: мы говорим *о Модной жене* Дмитриева; но между ею и *Онегиным* нет ничего общего уже потому только, что *Модную жену* так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально-русское произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, *Граф Нулин*; но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде

Онегина создана Байроном; по крайней мере манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к самому себе и особенно это слишком осязаемое присутствие лица поэта в созданном им произведении, – все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому изобрести ее, – тем не менее, при сравнении *Онегина* Пушкина с *Дон-Хуаном*, *Чайльд-Гарольдом* и *Бенпо* Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ними и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России для России, – и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту, – он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пища русский роман. Сделай он это – и толпа превознесла бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградой за его ложный *tour de force*¹.

Но, повторяем, Пушкин как поэт был слишком велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непечатаемой и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его *Онегин* – в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова – *Горе от ума*² стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской по-

¹ Действие, требующее большого напряжения сил (фр.).

² *Горе от ума* было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано *вчерне*. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе *Талия* в 1825 году. Первая глава *Онегина* появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы (примеч. В. Г. Белинского).

эзии, новой русской литературе. До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни; за Крыловым и, наконец, за Фонвизиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, – она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык – все насквозь проникнуто глубокою истинною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано *Горе от ума*, – в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям. То же можно сказать и в отношении к *Онегину*, хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, – тогда как *Горе от ума* до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпитафий! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведениям, – но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не

учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе – стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с *Онегиным* Пушкина его *Горе от ума* было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без *Онегина* был бы невозможен *Герой нашего времени*, так же, как без *Онегина* и *Горя от ума* Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до *Онегина* и *Горя от ума*, еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно называвшаяся русскою жизнью; это – исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и *Горе от ума*. Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм – за европеизм; другими словами: в том, что *народность* смешивают с *простонародностью*, и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами, и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случилось им,
Так мы их слышать не хотим.

Таланты этого рода – плохие мыслители; фантазия у них развита на счет ума. Они не понимают, что *тайна национальности* каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особенность, – а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество, У всякого народа две философии; одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как, например, *авось* и *живет*, а, между тем, они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало *Онегина* и *Горе от ума* произведениями оригинальными и чисто русскими.

Содержание *Онегина* так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского – говоря нынешним языком – льва, который, наскучив светскою жизнью, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за *генерала*,

потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменялась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может – по гордости добродетели. Вот и все содержание *Онегина*. Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы – этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холодною на ее страстное признание; но когда она стала женщиною, – он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль влюбленной в него девушке, вместо того чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их родительского благословения, навеки нерушимого, совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом: Онегин ни за что убивает бедного Ленского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами – и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об *Онегине* многие из «почтеннейших читателей»; по крайней мере, нам случалось слышать много таких суждений, которые во время оно бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в *Онегине* нет целого, что это – просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в *смутном сне*

*Являлися впервые мне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.*

Великий критик не догадался, что поэт благодаря своему творческому инстинкту мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается – на картине потерявшегося, после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо них просто людей.

Мы начали статью с того, что *Онегин* есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, т. е. именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее – общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества: чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, *жалованною грамотою*, определила в 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству – единственному сословию, которое при Екатерине II достигло высшего своего развития и было просвещенным, образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под словом *возникать* мы разумеем слово *образовываться*. В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким

образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью, как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и рисование тоже входили у него, как необходимость, в план воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович – эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее – у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и *светская*, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, – то Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на *Лизин пруд*, чтоб *слезою чувствительности* почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сантиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту сантиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого, и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, *сословие* превратило в *общество*. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов,

гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспевание в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, пробудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия в лице своего победоносного войска лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, – и в *Онегине* он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество, в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, т. е. в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество: мы смотрим на *Онегина* как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени... *Герой нашего времени* был новым *Онегиным*: едва прошло четыре года, – и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки *Онегина* суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом – «старо»; но разве вина поэта, что в России все движется так

быстро? – и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в *Онегине* ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, – это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество: в таком случае, что ж бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?..

Мы уже коснулись содержания *Онегина*; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, – в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин – отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин – светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, – мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и не света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений, – светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святыя чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда, но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мел-

кого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда, а разве в несветской жизни — одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда, но они не были и ни купцами, ни мещанами — они были просто людьми, так же точно, как и Байрон — аристократ и светский человек, своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки — большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека. И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским — этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных; но образованность еще более, нежели светскость, была причиной этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина; но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, — тем более, что мы решительно неспособны поддерживать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Колумба во всей Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, —

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был *Онегин* для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если

какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, – с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, – хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и несветских): нет, вследствие благотельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того, ни с сего выздороветь: куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к *Онегину*. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже –

...равно зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который в глуши своей деревни

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель – не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, состраждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если почему бы то ни было вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, – в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в

выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего – манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера – отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, *по их мнению*, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем как кошка с собакою и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастья, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? – как этот господин благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом, – и, если иные под рукою смеются, зато другие от души *сокрушаются*. И – повторяем – это и не глупость и не расчетливое лицемерство: это просто – принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других:

Да из чего же вы беснуетесь столько?

Мало того: они считают за грех подобный вопрос; а если бы решились сделать его, то сами над собою расхохотались бы. Им невдогад, что если тут есть о чем грустить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все так усердно и так искренно разыгрывают.

Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением не в одном эстетическом отношении был для нашей публики *Онегин* Пушкина и какими новыми, смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полумысли, – приведем из него этот куплет:

Гм! гм! читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,

Что значат именно родные?
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб в остальное время года
О нас не думали они...
Итак, дай бог им долги дни!

Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имени и часто питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает не чем иным, как правом – бедному подличать перед богатым из подачки, богатому – презирать докучного бедняка и отделяться от него ничем; равно богатым – завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же – право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни поступите вы, как человек с характером и с чувством своего человеческого достоинства, – везде вы оскорбите принцип родства. Вздумали вы жениться – просите совета; не попросите его – вы опасный мечтатель, вольнодумец; попросите – вам укажут невесту; женитесь на ней и будете несчастны – вам же скажут: «то-то же, братец, вот какво без оглядки-то предпринимать такие важные дела; я ведь говорил»... Женитесь по своему выбору – еще хуже беда. – Какие еще права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник – и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению: случилась с вами беда, – и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить

эту новость, порицая и браня вас за глаза – ведь известно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново; но то беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу, остановится не у них; а остановись она у них, – они же будут не рады; но, ропща, бранясь и всем жалуясь под рукою, они перед родственною семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово – опять остановиться у них и вытеснить их, во имя родства, из их собственного дома. Что это значит? Совсем не то, чтобы родство у подобных людей существовало, как *принцип*, а только то, что оно существует у них, как *факт*: внутренне, по убеждению, никто из них не признает его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают.

Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно, – и на него осердились, его называли безнравственным; стало быть, если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не существует, т. е. неверно и ложно, – его похвалили бы. Все это значит ни больше, ни меньше, как то, что нравственна одна ложь и неправда... Вот к чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в *Онегине*! Многие из них теперь и не новы и даже не очень глубоки; но, если бы Пушкин не сказал их *двадцать* лет назад, они теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие теперь истины. Он бы мог наскзать истин более безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл.

Большая часть публики совершенно отрицала в *Онегине* душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало:

многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит – имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражаемая странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм,
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змея воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,

*Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонной,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.*

Из этих стихов мы ясно видим по крайней мере то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия, и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет – все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого просят они от нее – корма, поила, тепла да кой-каких игрушек, способных тешить пошлое и мелкое самолюбие. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства *нарядною печалью*) свойственно только людям, которые, желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание (в VII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.

Связь с Ленским – этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей,

Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.
Он слушал Ленского с улыбкой:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор, –
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать,
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет,
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.
Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина как человека произошли от грубой не-

способности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос.

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес.
Что ж он? – ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще;
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?..

.....
Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалою.
Довольно он морочил свет
Знаком он вам? – «*И да, и нет*».

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
*Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит;
Что ум, любя простор, теснит;*
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
*И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?*

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился;
О ком твердили целый век:
NN прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

Эти стихи – ключ к тайне характера Онегина. Онегин – не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто – «добрый малой, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалою модою» везде находить или везде искать все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин – добрый малой, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то

эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим; нескоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды – воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств.

Два дни ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий – рощи, холм и поле
Его не занимали боле,
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова *эгоист*, – и так как избыток чувства, потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин – *страдающий эгоист*. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда – люди без всяких заносчивых или мечтательных притязаний; они не понимают, как может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам; если их дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если их дела идут хорошо, они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты по нату-

ре или по причине дурного воспитания. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают толсты и румяны; по большей части это народ больной и всегда скучающий. Бросаясь всюду, везде ища то счастья, то рассеяния, они нигде не находят ни того, ни другого с той минуты, как обольщения юности оставляют их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближних; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастья, то развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. Если подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для каждого из его членов стремиться своею деятельностью к осуществлению идеала истины и блага, — о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые элементы, сделали их эгоистами. Но наш Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно назвать *эгоистом поневоле*; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли *fatum*. Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинный
Оброком легким заменил.
Мужик судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос *все* решили так,
Что он опаснейший чужак.

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,

Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги:
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он – фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да да нет*, не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Есть люди, которым если удастся что-нибудь сделать порядочное, они с самодовольствием рассказывают об этом всему миру и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегин был не из таких людей: важное и великое для многих для него было не Бог знает чем.

Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает; из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, – тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал – *по привычке*, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, – в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, – и еще более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал

чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос, почему влюбился или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился, – такой вопрос мы считаем немного слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы – правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько тривиальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана, лучше ясного сокола», – кто отвергает это, тот не понимает любви. Если бы выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди, кажется, созданные один для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо нисколько себе не под пару. Поэтому Онегин имел полное право, без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания; но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна, и что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны:

Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмучил.
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылой;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинной
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметая в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (т. е. заставил себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободой. Но если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так изъясняется на этот счет, говоря о Ленском:

Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда,
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь немного представляла ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, — он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, — он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему

в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и блаженство любви!..

Разлученный с Татьяною смертью Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми.

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука:

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядел на дымные струи
И мыслил, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен!
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! тоска, тоска!..

Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как

будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один – деньгами, другой – женитьбою, третий – болезнью, четвертый – нуждою и кровавым потом работы, – видеть вокруг себя и веселье и печаль, и смех и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жи-ду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти как о величайшем для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но оттого не меньшее страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее: так переменялась она!

Она была не тороплива,
 Не холодна, не говорлива,
 Без взора наглого для всех,
 Без притязаний на успех,
 Без этих маленьких ужимок,
 Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
 Она казалась верный снимок
 Du comme il faut.....

Никто б не мог ее прекрасной
 Назвать; но с головы до ног
 Никто бы в ней найти не мог
 Того, что модой самовластной
 В высоком лондонском кругу
 Зовется vulgar.

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

... И всех выше
И нос и плечи поднимал
Вошедший с нею генерал, —

муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного *оха* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них!

Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон;
Был так же тих ее поклон.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не жала даже губ она.
Хоть он глядел, нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,

Где все наруже, все на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

.....
Что с ним? в каком он странном сне?
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности – любовь?..

.....
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь.

.....
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури внешние полям.
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют –
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Не принадлежа к числу ультра-идеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств, и потому думаем, что *досада* и *суетность* имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:

О, люди! все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет:
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

Мы лучше думаем о достоинстве человеческой природы и убеждены, что человек рождается не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе, — так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве математических аксиом. До тех же пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренне, существенно — непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насилловать их чувства и склонности самые священные. Теперь, если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, — последует влечению своего сердца и будет

любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители: неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви, – что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? – песня соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? – торжественная песнь соловья на закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив, вольная песнь жаворонка, который в безумном упоении чувством бытия то мчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..

Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты – и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренне осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света вопреки мнению мещанских философов; для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, – уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои душевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. ореол светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде, люди бывают двух родов – одни привязываются к формам и в их исполнении видят назначение жизни, это – чернь; другие от света заим-

ствуют знание людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

.....
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав у милых ног,
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог;
А, между тем, притворным хладом
Вооружив и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас спокойным взглядом!..

Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице – на нем отражался лишь след гнева... Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:

И что ж? глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками.

*Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказания,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.*

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: Что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных;
То сельский дом – и у окна
Сидит *она*... и все она?..

Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстанется с Онегиным в самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца? – Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные, никому непонятные, даже самим себе, словом, то, что по-французски называется *les êtres manqué, les existences avortées*. И эти существа часто бывают одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих; тут есть *fatum*, заключающийся в действительности, которую окружены они, как воздухом, и из которой не в силах

и не во власти человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем Печорина: пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте; лермонтовский Печорин бьется на смерть с жизнью и насильно хочет у нее вырвать свою долю; в дорогах – разница, а результат один: оба романа так же без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов...

Что случилось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? – Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать...

Онегин – характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе.

С душою прямо геттингенской,
Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

.....
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел *разлуку и печаль*,
И *нечто и туманну даль*,
И *романтические розы*;

Он пел те дальние страны,
Где долго в лоне тишины
Лились его живые слезы;
*Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в восемнадцать лет.*

Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу, – и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти – и за поэта, товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадыю улана? Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было, и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, – Ольга была очаровательна, как и все «барышни», пока они еще не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею, сильфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором, верный себе, без всякой иронии умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманно-романтических стихах. Мы несколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт,

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом, –

но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским – верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение:

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волнение,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света,
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословения племен.

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подал гру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Мы убеждены, что с Ленским сбилось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить – значит развиваться и идти вперед. Это повторяем – был *романтик* и больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохраняют навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно-прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пошлые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговорим о ней в следующей статье.